

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Галина ШЕРГОВА

Очень хотелось вернуться сюда.

Шесть лет назад мы въехали в Кишинев на деревенской каруце, запряженной двумя меланхоличными волами. По ту сторону города еще тяжело вздыхала канонада. Сквозь развилку воловьих рогов мы увидели город. Млел сентябрь — лучший месяц Кишинева. Начали краснеть тяжелые кроны каштанов, клены уже сыпали листву на лапы каменных львов, спящих у входа в разбитый особняк. Изувеченный город предстал перед нами. Дома пустыми глазницами смотрели на пустые, шербатые тротуары. Мысль о том, что здесь может клоткать жизнь, казалась странной.

В ту осень я проехала почти всю задне-строускую Молдавию. До этого я побывала во многих освобожденных городах и селах Родины. И всюду радовало и поражало, что первый же день освобождения начинался стуком топоров по кровлям, колхозными собраниями, металлическим грохотом заводских цехов. Советская жизнь, временно прерванная, брала сразу же разбег, сообщенный ей четвертью века строем, творчества, жадной жизненной силой.

Здесь же, в Бессарабии, особенно в селах, жизнь начиналась робко, как бы исподволь. За предвоенный год советской власти размашистые темпы нашего созидания еще не вошли в самую плоть молдавской деревни, и сейчас радостное, почти детское удивление тому, что можно снова свободно пахать землю и учить детей, жило в глазах крестьян.

Помню, однажды ночью мы приехали в село Джурджулешты. Об этих Джурджулештах писал когда-то Коцюбинский. Рассказ о виноградниках, пораженных болезнью, и об огне, вылизавшем до корней больные лозы. Так местные власти лечили поля. Рассказ о крестьянах, у которых вместе с лозой отняли возможность жить. Очень грустный рассказ.

Звездный Прут лежал за окном, и медленные ветви деревьев шевелились над ним. Хозяйка принесла на стол миску мамалыги и десяток гнилых яблок. «Больше нет», — сказала женщина. В избу вошел подросток в костятой овечьей шапке. Он кинул взгляд на мамалыгу. Женщина что-то сказала ему. Тогда один из нас, понимавший по-молдавски, вмешался: «Да что вы! Пусть ест. Какие там гости!» И обернулся к нам: «Она говорит — это для гостей. А парень хочет есть».

И нам показалось, что еще пахнет за селом погребальным виноградным дымом и что за эти десятилетия, со времен Коцюбинского, жизнь так и не пробилась сквозь пепел, замуравивший землю. Мы сказали хозяйке: «Ничего, скоро все будет». Она удивленно повела плечами: «Хорошо бы...».

...И вот теперь я вновь в этом краю, певучем краю виноградных лоз, пахучей грозды над Днестром, степей, где отары овец уходят на горизонт, к отарам туч. Хотелось взглянуть в глаза этого края, преобразенного нашими шестью огромными годами.

Кишинев не узнать. Город, возмужав и помолодев одновременно, обрел новый характер — деятельный и очень сегодняшний. Ходили мы по городу с Любовью Беляевой. Она смотрела на новые дома и почти на каждый кивала головой. Говорила просто: «Это тоже я штукатурила». Мне хочется сейчас рассказать о ней, но я сделаю это позднее, и вы поймете, почему.

На Ленинской улице мы простились — Беляева пошла на стройку, а я решила подняться вверх по улице 28 июня до Садовой.

На Садовой город кончался, только маленький горбатый переулочек, упирившийся в дом, карабкался вверх.

И вот переулочек и дом я узнала сразу. Здесь в 1944 году жил старый кишиневский доктор, которого фашисты всю войну терзали в гетто. Доктор был очень болен и слаб, но по вечерам к нему собирались музыканты, доктор усаживался в кресло, закрывал

глаза и слушал музыку. Мы бывали у доктора вместе со Степаном Тимофеевичем Нягой, молдавским композитором. Няга играл нам здесь свою «Поэму о Днестре». Сейчас я уже не помню мелодий, живо только ощущение. Молдавские холмы — рыжие и косматые в огне сентябрьских лесов, сады и виноградники с каплями солнца в гроздьях, фольговые голубки на придорожных распятыях. И снова тяжелые сады... И стон, стон народа, изнывающего под чужеземным гнетом, стон народа, у которого отняты и сады, и виноградники, и даже косматые холмы. Песня оккупации.

Доктор слушал «Поэму», качал головой и все повторял: «Да, это правда». И глаза у него были мокрые.

Я вспомнила об этом, стоя у дома в переулке Садовой. Вдруг меня окликнули. Из дома вышел сам Няга, да, Степан Тимофеевич! Оказывается, он теперь жил здесь. А доктор? Доктор, бедняга, умер.

Мы сидели у Няги и, как всегда в таких случаях, перебирали события и разговоры тех дней. Вспоминали его рассказы о детстве. Он снова перебирал забавные истории тех времен. Я представляла, как маленького Стефана мать запирает на ключ в комнате и за дверью слышится ее голос, обращенный к кому-то из соседей: «Такой лентяй, знаете. Насильно заставляю писать палочки на доске. А теперь еще музыка. Это в нашей-то семье, где все музыканты, насильно заставлять заниматься музыкой!». А через три часа у двери раздавались шаги, и тот же голос уже шепотом говорил: «Подумайте — играет! Палочки писать не хочет, а на рояле сам по пять часов играет». Потом, когда Стефану было лет 12, он уже зарабатывал, играя в кино. По прериям, раздувая пенные бока, неслись мустанги, и рояль надрылся в бешеной погоне. Но даже лучший знаток музыки не мог бы назвать автора этого фортепьянного аккомпанемента. Музыка рождалась здесь, в темном зале, и маленький автор еще час назад не знал о существовании этих созвучий.

Няге удалось кончить Бухарестскую консерваторию. И потом, в Париже, подрабатывая выступлениями в качестве аккомпаниатора, он продолжал совершенствоваться. В это время он уже писал много и серьезно, но и симфония, и оратория, и камерные произведения не удовлетворяли его. В них не было основного — своего почерка. Воспитанный французской школой, но любивший Чайковского и Римского-Корсакова, Няга пытался объединить эти разные начала. Синтез получался искусственным. Возвращение в Кишинев в сороковом году, новые пути его народа обратили Нягу к молдавскому фольклору. Дойны были его вторым творческим рождением.

Мы познакомились, как я сказала, когда Няга играл свою «Поэму о Днестре», написанную в глубине Союза, далеко от молдавских ореховых рощ. С тех пор я не раз видела в Москве на афишах его имя, а однажды слушала его музыку в концерте. Это была «Песня о Сталине» для хора с оркестром и кантата «25 лет Молдавской ССР».

Теперь он сказал:

— Сделал кое-что за эти годы. Написал кантату «Стефан Великий», ораторию, мелкие камерные произведения. Музыку республиканского гимна. Работают все очень много, и я работаю. В Кишиневе теперь многое изменилось. Большие достижения.

Я показала на лацканы его пиджака:

— И у вас достижения. Да еще какие! Сталинская премия, орден Ленина, значок депутата Верховного Совета республики. Этого тогда не было.

Он смущенно развел руками и показал телеграмму:

— Да, вот, видите. Сегодня у меня большой день: телеграмму получил — снова выдвинули кандидатом в Верховный Совет. — Он береж-



С. Т. Няга.

но, вчетверо сложил телеграмму, спрятал ее в стол, а потом сказал: — Очень большие изменения произошли в Молдавии. Я сейчас написал об этом. На днях кончил ораторию. Я назвал ее «Песня возрождения». Только я говорю плохо. Если хотите, лучше сыграю.

История Бессарабии... Он чувствовал ее, и тяжелые аккорды — повесть о турецкой неволе — возникли сразу и неопровержимо. Композитор слышал их, как и свист гайдуцких шашек, цокот копыт, тревожные трубы военных сигналов и неодолимые маршевые ритмы наступления освободителей. Ему хорошо работалось. Все его существо было полно возникающими темами, и музыка гулко пульсировала в крови. И вдруг он остановился.

Нужно было написать центральную часть оратории — «Песню возрождения». Он хотел, чтобы в ней выразилось самое существо происшедшего на его родине, сама жизнь. А жизнь обступала его, сходила с газетных листов, рвалась из репродукторов, клочкотала в окружающих его людях. И вечерами при свете электрической лампочки древние деды читали придиричьим внукам специальную газету для малограмотных. А внуки поучительно поправляли ошибки. Школы открывались всюду. Няга однажды приехал к своим избирателям. Снег был высок, лошади в лесу увязали по грудь, и дымные ноздри их дышали над сугробами. Это была трудная зима для деревни, и все-таки первое, о чем спросили крестьяне своего депутата, была школа, семилетняя школа. «Это возможно?» — спросили его.

Да, в Молдавии теперь все было возможно. Если оказалось возможным вырастить здесь хлопок и посадить цитрусы.

И Няга читал о том, как в холмистой степи, посасывая воду из встречных родников, текла спокойная речка Куболта. И вдруг уже нет тихой Куболты: ее пересекли плотины колхозных гидростанций. И если смотреть с дальнего холма, кажется, светлая нитка реки запуталась в большие клубки новых озер.

Новое входило в жизнь, неся изобилие, колыхалось на телегах грудями винограда, сыпалось звонким зерном в элеваторы, плескалось багряной волной вина о стенки каменных бассейнов.

Вот об этом надо писать. Веселые, ликующие перезвоны народных цимбалов и тяжесть виноградных гроздьев ложились сочными аккордами. Это будет симфонический кусок. Он записал его. И все-таки пейзаж обновленной земли — еще не главная тема. Хорошо. Симфонический кусок останется, как интермеццо к главной теме. Но где же она? Как должна звучать? Жизнеутверждающим маршем, в котором люди услышат молотки